

A close-up portrait of a middle-aged man with a beard and intense expression, wearing a military uniform. He is in an operating room, with surgical instruments on a table and a bright overhead light visible in the background.

Александр Игин

**Выиграть
войну
ранеными**

Александр Игин

Выиграть войну ранеными

«Автор»

2026

Игин А.

Выиграть войну ранеными / А. Игин — «Автор», 2026

Они не стреляют, но их война не менее страшна. Они не убивают врага, но каждый день спасают тех, кто мог бы умереть. Они — военные врачи, чьё поле боя — операционная, оружие — скальпель, победа измеряется возвращёнными к жизни. Подполковник медицинской службы Пётр Иванович Кальпель, по прозвищу Скальпель, — кардиохирург, прошедший Луганск и Донецк. Он организовывал эвакуацию раненых, оперировал под обстрелами и создал методику обучения военных врачей, спасшую тысячи жизней. Но этот роман не только о войне. Это история о том, как человек становится врачом, а врач — человеком. О студенческой мечте и суровой реальности. О первой любви и первой операции. О сострадании, сильнее жалости. О том, что иногда, чтобы спасти жизнь, достаточно просто выслушать и поверить. «Мы выиграли войну ранеными» — сказал маршал Рокоссовский. Эти слова стали судьбой целого поколения врачей. Книга о тех, кто возвращает к жизни, кто не сдаётся, кто идёт до конца.

© Игин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Игин

Выиграть войну ранеными

Предисловие к роману «Выиграть войну ранеными»

Дорогой читатель!

Эта книга родилась не в тишине кабинета и не за письменным столом. Она родилась там, где пахнет гарью и железом, где каждый вздох может стать последним, а каждая минута — решающей. Она родилась в разговорах с теми, кто стоял у операционного стола под обстрелами, кто держал в руках чужое сердце и верил, что оно будет биться. Она родилась из желания рассказать о людях, которых мы не замечаем в суете мирной жизни, но без которых эта мирная жизнь была бы невозможна.

Этот роман — о военных врачах. О тех, кто не стреляет, но чья война не менее страшна. О тех, кто не убивает врага, но каждый день спасает тех, кто мог бы умереть. О тех, чьё поле боя — операционная, чьё оружие — скальпель, а победа измеряется не взятыми высотами, а возвращёнными к жизни.

Я не был на войне. Я не держал в руках скальпель. Но я говорил с теми, кто был и кто держал. Я слушал их истории — страшные и прекрасные, трагические и вдохновляющие. И я понял, что их голоса должны быть услышаны. Что их подвиг не должен быть забыт. Что их судьбы могут стать уроком для всех нас.

Главный герой этой книги — Пётр Иванович Кальпель, кардиохирург, военный врач, которого за его мастерство прозвали Скальпель. Он — собирательный образ. В нём слились черты многих врачей, с которыми я говорил, многих судеб, которые я узнал. Его история — это история тысяч врачей, которые сегодня работают в госпиталях и полевых лагерях, которые каждую минуту выбирают между жизнью и смертью, которые не имеют права на слабость, потому что за ними — чья-то жизнь.

«Мы выиграли войну ранеными», — сказал однажды маршал Константин Рокоссовский. Эти слова стали эпиграфом и лейтмотивом этой книги. Потому что на войне победа достаётся не только тем, кто убивает, но и тем, кто возвращает к жизни. Потому что каждый спасённый солдат — это не просто жизнь, это будущее, это семья, это надежда. Это война, которую мы выигрываем ранеными.

Я хочу сказать спасибо всем врачам, которые согласились поделиться со мной своими историями. Вам, чьи руки творят чудеса. Вам, чьи сердца не остывают даже в самые тёмные времена. Вам, кто каждый день повторяет про себя: «Приказано лечить».

Эта книга — для вас.

И для тех, кто хочет понять, что такое настоящий долг, настоящее сострадание, настоящая любовь. Для тех, кто верит, что даже в аду можно остаться человеком. Для тех, кто знает, что жизнь — это главная ценность, и что за неё стоит бороться до конца.

Приятного чтения!

Александр Игин

Глава первая. Приказано лечить

Посвящается тем, кто возвращает к жизни

В Луганске пахло гарью и железом. Этот запах въедается в одежду, в кожу, в самую душу — его не вытравишь ни мылом, ни временем, ни даже операционным спиртом, от которого у Петра Ивановича Кальпеля, подполковника медицинской службы, по кличке Скальпель, уже много лет щипало в носу по утрам, когда он брился перед зеркалом.

Он стоял у разбитого окна в здании, которое когда-то было школой, а теперь стало сортировочным пунктом, и смотрел, как внизу, во дворе, санитары грузили носилки в машины.

Восемнадцать человек за последние три часа. Восемнадцать мальчишек — отцу каждого из них сейчас не спится, а мать, если жива, наверное, стоит у иконы, шевелит губами, прося у Бога того, чего Бог, кажется, уже не слышит за этим грохотом.

— Товарищ подполковник, еще четверо.

Голос старшего лейтенанта Семенова дрогнул, но только чуть-чуть, на полтона, как струна, которую тронули, но не ударили. Кальпель обернулся. У Семенова было лицо человека, который слишком много видел, но еще не научился этому не удивляться. Тонкая черная бровь его приподнялась, и в глазах стояло то выражение, которое Кальпель видел у многих на этой войне — одновременно усталое и озадаченное, словно парень до сих пор не мог поверить, что все это происходит на самом деле, в двадцать первом веке, с ним, его товарищами, с теми, кто еще вчера писал курсовые и выбирал свадебный костюм.

— Что за ранения?

— Осколочные, грудная клетка и брюшная полость. У одного — множественные осколки, бедро раздроблено. При взрыве беспилотника. Сами видели, какая техника сейчас пошла, — Семенов дернул щекой, словно хотел плюнуть, но сдержался. — Видели бы вы, что с теми парнями стало... Там ФПВ-дрон, такая маленькая штучка, а несет в себе столько металла, что весь живот исполосовало осколками, и все мелкие, как дробь. Мы одного считали — сорок три осколка извлекли, а сколько еще осталось внутри, рентген покажет. Такое чувство, что война теперь не про пули, а про то, чтобы сделать рану как можно более мерзкой и трудноизлечимой.

Кальпель кивнул, и в этом кивке было что-то от механического движения — как у маятника, который давно завели, и он качается сам, без участия человека. Он уже не считал, сколько таких кивков сделал за эту командировку. Сорок дней в Донбассе, и каждый день — как операция длиной в сутки, без наркоза и без права на ошибку. Он видел эти дроны, эти кассетные боеприпасы, эти новые снаряды, которые разрываются так, что человеческое тело превращается в решето, в мишень для игры, где выигрывают только осколки. И каждый раз, когда он склонялся над очередным раненым, ему казалось, что он сражается не просто с раной, а с самой эпохой, с ее бездушной жестокостью, с ее математической точностью убийства.

— КСВП наложили? — спросил он, и голос его звучал ровно, хотя внутри, где-то под диафрагмой, шевелилась знакомая тоска. Он привык к ней, как привыкают к хронической боли, которая становится частью тебя, перестает быть чужой. Эта тоска жила в нем с тех самых пор, как он, студент четвертого курса Ивановской академии, впервые увидел раненых в гарнизонном госпитале — молодых, перепуганных, но упрямых, с глазами, в которых уже поселилась та самая взрослость, которую не купишь за годы университетских лекций.

— Нет еще, ждут вас. Товарищ подполковник, — Семенов замялся, переступил с ноги на ногу, и его сапоги скрипнули по битому стеклу, которого на полу было столько, что казалось — здесь шел не бой, а кто-то специально рассыпал его из злой шутки, — там парень совсем молодой, ему двадцать лет. Он все время повторяет: «Я должен жить, у меня сестра маленькая, она без меня пропадет». Я ему говорю, что все будет хорошо, а самому страшно.

— Идиот, — мягко сказал Кальпель, и в голосе его не было злости, только усталая констатация факта. — Не бойся за него. Бойся за себя. Он будет жить, потому что я приказываю. А ты, лейтенант, запомни: мы здесь не для того, чтобы бояться. Мы здесь для того, чтобы делать. Бояться будешь потом, когда все закончится и ты проснешься в своей постели в час ночи от того, что тебе показалось, что ты слышишь взрыв. Тогда и побоишься. А сейчас — работай.

— Есть, товарищ подполковник.

— Идем.

Он спустился на первый этаж, и шаги его гулко отдавались в пустом коридоре, где на стенах еще висели детские рисунки — солнце, дом, мама, кошка, война. Войны на рисунках не было — дети рисуют то, что должно быть, а не то, что есть. Кальпель остановился на секунду у

одного из них: на пожелтевшем листе ватмана был изображен человек в белом халате с красным крестом, и подпись неровными печатными буквами: «Спасибо, дядя доктор».

Он смотрел на этот рисунок, и в груди у него что-то сжималось — то самое чувство, о котором он предпочитал не думать, потому что если начнешь думать, перестанешь работать. Кто нарисовал этот рисунок? Жив ли этот ребенок сейчас? Или он уже там, в подвалах, где пахнет сыростью и страхом, или в эвакуационном поезде, глядит в окно на бесконечную степь и пытается запомнить, как выглядит дом, который, может быть, уже не существует? Он представил себе девочку лет семи или восьми, с косичками и бантами, которая сидит за партой и старательно выводит буквы, а рядом лежит фломастер красного цвета — для креста на халате доктора. И этот доктор — он, Петр Иванович Кальпель, которому уже сорок восемь, и на его счету сотни спасенных сердец, тысячи операций, но перед этим рисунком он чувствует себя мальчишкой, который впервые держит в руках скальпель и не знает, куда его приложить.

Он отвел глаза. Это было непрофессионально — думать о детях, когда перед тобой лежат мужчины, у которых тоже есть дети, и эти дети сейчас, может быть, тоже рисуют солнце и дяку доктора. Война не щадит никого, и если ты врач, ты не имеешь права выбирать, кого жалеть больше, а кого меньше. Все они — чьи-то сыновья, чьи-то братья, чьи-то женихи. И всех их надо вернуть к жизни, даже если эта жизнь после всего, что они увидели, уже никогда не станет прежней.

В операционной пахло йодом и кровью — устойчивый, горьковатый запах, который Кальпель знал с двадцати лет, с тех пор, как впервые ассистировал на военной кафедре в Саратове, куда приехал поступать после Ивановской академии, после того как увидел раненых в гарнизонном госпитале и понял: это его путь. Он тогда, в 1995-м, стоял у койки молодого солдата, который лишился ноги, и тот посмотрел на него — Петра тогда звали просто Петя, и ему было двадцать три — и сказал: «Доктор, я воевал за вас. Теперь вы должны меня вылечить». Слова эти врезались в память, как скальпель врезается в кожу, оставляя рубец, который никогда не исчезнет. И в тот момент Петя Кальпель понял, что у него нет выбора. Что он будет делать это всегда — вставать в шесть утра, приходить в госпиталь к восьми, брать в руки инструменты и входить в тела, где прячется смерть, и вытаскивать ее оттуда, как занозу.

«Скальпель» — это прозвище прилипло к нему в школе, когда он, гиперактивный мальчишка из Иванова, из обычной семьи служащих — мама работала в управлении на мебельном комбинате, отец был простым механиком, хоть и числился военным, но недолго — вечно разбивал коленки и локти, падал с деревьев, дрался с мальчишками во дворе, и каждый раз мама вела его в больницу, и он лежал и лечился, и бедная мама плакала, потому что не знала, что делать с этим своим неугомонным сыном. А он показывал одноклассникам, как аккуратно вынимает занозы из пальцев при помощи маминой швейной иглы, и они смеялись: «Ну ты и Скальпель!» А он серьезно кивал: «Стану хирургом». И никто не верил, что это серьезно — все думали, игра. А он не играл. Никогда не играл.

Теперь, двадцать восемь лет спустя, он стоял в разрушенной школе в Луганске, надевал стерильные перчатки, и молодые хирурги смотрели на него с тем же доверием, с каким он когда-то смотрел на Владимира Лемихова, чьи труды прочел на третьем курсе, и на Кристиана Барнарда, чья книга «Нежелательные элементы» перевернула его сознание, заставив влюбиться в кардиохирургию на всю жизнь. В той книге Барнард писал без прикрас — о взлетах и падениях, о смерти и успехе, о зависти коллег и о том, как ему не давали хода, запрещали, как он шел напролом, потому что знал: он может спасти жизнь. И Кальпель прочитал ее за ночь, а наутро сказал себе: я тоже буду таким. Я буду идти до конца.

— Осколочное ранение бедра, множественные повреждения мягких тканей, — доложил молодой лейтенант, и лицо его было бледным, но руки не дрожали. Кальпель посмотрел на него и заметил, что парень, хоть и молод, уже успел получить обожженные брови — наверное, рядом разорвался снаряд, и пламя лизнуло лицо, оставив свой след. — Артерия задета, но не

разорвана. Кость раздроблена, осколки глубоко, есть повреждение нервных окончаний. Мы наложили жгут, но нужно стабилизировать.

— Давай сюда КСВП, — Кальпель протянул руку, и медсестра подала ему аппарат — тот самый, который стабилизирует кости, грубая и простая вещь, без которой на этой войне невозможно спасти конечность. — И принесите мне налобный фонарь, здесь плохой свет, я должен видеть каждый осколок. Если я пропущу хотя бы один, начнется сепсис, и тогда все наши усилия пойдут прахом.

Аппарат КСВП — компрессионно-стабилизирующий внешний фиксатор — казался чем-то инопланетным, нагромождением штанг и колец, но Кальпель управлялся с ним с легкостью фокусника, который знает, куда нажать, чтобы вытащить кролика из шляпы. Он работал быстро, как музыкант, который играет на инструменте, который знает наизусть, где каждая струна, каждый лад, каждое движение смычка. Но инструмент этот был живой, и каждый неправильный жест мог стоить человеку ноги, а значит — и жизни, потому что инвалид на войне — это не просто инвалид, это еще один человек, которого надо кормить, лечить и помнить, что он когда-то стоял в строю и защищал страну.

— Прижмите здесь, — сказал он медсестре, и та, старшая, с седыми волосами, собранными в узел, прижала тампон, и лицо ее было спокойным, как у матери, которая держит на руках больного ребенка и знает, что доктор придет и все сделает правильно. Кальпель мельком взглянул на нее — эта женщина работала в госпитале с девяностых, она помнила еще ту войну, первую чеченскую, и сейчас, спустя тридцать лет, она стояла здесь же, с тем же лицом, с теми же руками, которые держали инструменты для его учителей.

— Как вас зовут, боец? — спросил Кальпель у раненого, который лежал с открытыми глазами — наркоз тут, на передовой, был ограниченным, и многие переносили операции с местной анестезией, стиснув зубы и глядя в потолок, пытаясь не думать о том, что их режут, а думать о чем-то хорошем — о доме, о девушке, о матери, о том, как они будут пить чай на кухне, когда все это кончится.

— Лейтенант Токарев, — ответил парень, и голос его был сухим, как пыль под ногами. — Товарищ подполковник, я... я завтра должен был...

Он замолчал, и Кальпель увидел, как по щеке парня скатилась слеза, но он быстро смахнул ее, как будто стыдился своей слабости. И в этой слезе было все — и ужас перед войной, и любовь к той, которая ждет, и надежда, которую он носил в себе, как носят икону в нагрудном кармане.

— Что?

— Жениться. Невеста в Воронеже ждет. Мы уже все подготовили, платье купили, гостей пригласили, а меня тут... — он хотел сказать что-то еще, но голос его прервался, и он замолчал, глядя в стену, на которой висел тот самый детский рисунок с доктором.

Кальпель замер на мгновение. Он вспомнил того юного лейтенанта в госпитале Мандрыка, который показывал ему фотографию невесты — совсем недавно, неделю назад, когда он приехал в Москву на один день, чтобы решить вопросы с эвакуацией, и зашел в палаты, потому что не мог не зайти. И нянечка, ходившая за ним по пятам, потому что «ей их было жалко», и она, как и в первый раз, когда он приезжал в этот госпиталь, шла за ним по коридорам и смотрела, как он разговаривает с ребятами — с тем полковником, которого нельзя было упоминать, с тем, которого можно было фотографировать, с совсем юным лейтенантом, показывавшим фотографию своей невесты.

Сколько их, таких вот мальчишек, с фотографиями в нагрудных карманах, с письмами, которые читают в перерывах между взрывами, с обещаниями, которые давали и которые собираются выполнить? Сто? Тысяча? Миллион? Война не считает, война берет всех, кто попался под руку, и задача врача — вернуть этих мальчишек обратно, в их мир, к их невестам, матерям и детям, к их жизни, которая еще не началась или которая уже почти закончилась.

— Женитесь, — сказал Кальпель, затягивая повязку, и голос его был твердым, как сталь, как тот самый скальпель, который дал ему прозвище. — Обязательно женитесь. Я приказываю. Ты слышишь меня, лейтенант? Это не просьба, это приказ. Ты будешь стоять у алтаря, ты будешь держать за руку свою невесту, ты будешь пить за свое здоровье и за победу. Ты понял меня?

Парень усмехнулся — слабо, как сквозь сон, как будто он уже лежал под наркозом и видел сны, в которых был тот самый день — белое платье, шампанское, музыка, смех. Усмешка эта была кривой и неловкой, но в ней была жизнь, и Кальпель знал, что это главное.

— Спасибо, товарищ подполковник.

— Меня зовут Петр Иванович. Запомни мое имя. Когда ты проснешься после операции и увидишь свою ногу целой, ты вспомнишь — тебя оперировал Петр Иванович Кальпель, и я не дал тебе умереть. Ты понял?

— Спасибо, Петр Иванович, — парень закрыл глаза, и его дыхание стало ровным — он потерял сознание, и это было к лучшему, потому что все самое страшное еще только начиналось.

Кальпель отошел от стола и снял перчатки. Руки его — «как у музыканта, нежные, точные и ласковые», как говорили те, кто видел его работу — чуть подрагивали. Это не было усталостью. Это было напряжение, которое невозможно сбросить, как кожу, и которое остается с тобой до тех пор, пока в операционной кто-то дышит, пока сердце бьется, пока капельница капает свой спасительный раствор, пока ты слышишь голос раненого, который говорит тебе «спасибо».

Он вышел во двор, и вечерний воздух ударил в лицо, горький и холодный. Где-то далеко слышались разрывы — война продолжалась, не обращая внимания на то, что кто-то здесь, в этом разрушенном городе, спасает жизни, возвращает мальчишек к их невестам и матерям, к их рисункам и стихам. Дым поднимался над крышами, смешиваясь с сумерками, и казалось, что само небо горит и плавится, как металл в мартене.

Он вспомнил историю, которую рассказывал пациентам, когда они теряли надежду. Вспомнил слова Константина Рокоссовского, которые повторял как мантру: «Мы выиграли войну ранеными». Да, это правда — победа достается не только тем, кто убивает, но и тем, кто возвращает к жизни. И это был его бой, его личная война, которую он вел каждый день, каждый час, каждую минуту, стоя у операционного стола или сидя в штабе, решая, куда отправить следующий санитарный рейс, в какой госпиталь, к каким врачам.

А война вокруг была другой — страшной, безликой, жестокой. Теперь ранения не такие, как были еще недавно. Иная техника — высокоточные снаряды, касетные боеприпасы, дроны, которые жужжат над головой, как назойливые мухи, и несут в себе смерть. И ранения иные — потому что много осколков, мелких и острых, которые проникают всюду, в грудную клетку, в брюшную полость, в ноги, в руки, в лицо. И хирург на передовой должен уметь все — зашить рану легкого, зашить повреждения органов брюшной полости, наложить КСВП, зашить сосуд, чтобы остановить кровотечение, и еще найти время, чтобы поговорить с пациентом, потому что иногда слово лечит лучше скальпеля.

Зазвонил телефон. Из Москвы.

— Скальпель, ты как там?

Голос принадлежал начальнику госпиталя, генерал-майору медицинской службы, и в нем звучала привычная суровая забота — как у старшего брата, который пытается не показывать, что волнуется, но у него это плохо получается. Старик давно уже не выезжал в зону боевых действий, но он помнил, как сам стоял у операционных столов в Афганистане и в Чечне, и теперь, когда его подчиненные были там, он переживал за них так, как переживал бы за собственных сыновей.

— В порядке, товарищ генерал-майор. Завтра вылетаю в Донецк.

— Опять? Ты только что из Луганска.

— Приказано. Там организация эвакуации, нужно наладить маршруты, чтобы не было задержек. Ребята ждут, товарищ генерал-майор. Мы не можем их подвести. Если мы не наладим эвакуацию, они будут умирать в полевых госпиталях, где нет нужного оборудования. А в Бурденко или в Вишневого их могут спасти.

— Знаю, — голос начальника стал тише, и в нем послышалась усталость, которую генерал-майор прятал от всех, кроме своего подполковника, которого знал уже пятнадцать лет и которому доверял, как самому себе. — Но ты береги себя, Скальпель. Ты нам нужен живым. Не геройствуй без нужды. Мы тебя еще в академию отправим преподавать, когда все закончится.

— Товарищ генерал-майор, я просто делаю свою работу. Приказано лечить.

— Знаю, что лечить. Но, блядь, береги себя, — начальник выругался, и это было так необычно для его всегда сдержанного голоса, что Скальпель невольно усмехнулся. — Слышишь меня?

— Слышу.

Связь оборвалась — то ли глушители, то ли просто война не любит, когда о ней говорят слишком долго. Скальпель убрал телефон и посмотрел на небо. Над Луганском звезды были яркими, не тронутыми дымом и пылью — такими же, как в Иваново, где он родился и вырос, где мама работала на мебельной фабрике, а отец чинил станки, недолго прослужив военным, но так и не научившись быть военным до конца, потому что в душе он был механиком, человеком, который любил чинить, а не ломать.

В Иваново было тихо. Там пахло сиренью и рекой, там гуляли невесты и смеялись дети, там не знали, что такое утренний доклад о состоянии раненых, когда в трубке звучат цифры, от которых кровь стынет в жилах — семнадцать, двадцать три, сорок один, и каждый из них — чей-то сын, отец, муж. Там не знали, что такое госпиталь Мандрыка, где нянечка ходит за тобой по пятам и говорит: «Мне их так жалко», и ты киваешь, потому что самому тебе тоже жалко, но ты не можешь себе этого позволить, потому что если начнешь жалеть, перестанешь работать.

Но он знал. И знал, что будет делать это всегда. До последнего дыхания, до последнего удара сердца, до последнего пациента, который скажет ему «спасибо» и улыбнется.

«Нам приказано лечить», — подумал он и усмехнулся. Усмешка вышла кривой, как шрам на чужом теле, который никогда не заживет до конца, но который становится частью тебя, твоей историей, твоим прошлым и настоящим. Он не помнил, когда в последний раз смеялся по-настоящему — так, как смеялись те лейтенанты на фотографиях с невестами, до войны, до взрывов, до того, как их руки стали держать автоматы вместо цветов. Его жизнь была другой — она состояла из операций, эвакуаций, докладов, решений, каждое из которых могло стоить кому-то жизни.

Но он знал, что, пока он жив, пока руки его помнят движения хирурга, пока сердце бьется и разум ясен, он будет делать свое дело. Потому что за его спиной — те, кому он нужен, кто ждет его помощи, кто верит в него, как тот лейтенант Токарев верил в то, что он выживет и женится на своей невесте.

Приказано лечить.

Поздно ночью, когда все раненые были отправлены в тыловые госпитали — в Бурденко, в Вишневого, в Мандрыка, в Военно-медицинскую академию — Скальпель сидел в пустом классе бывшей школы, где на доске еще остались следы мела: уравнение по алгебре, которое так никто и не решил, и детский почерк, выведший под ним: « $2+2=4$, а война — это минус».

Он смотрел на это уравнение и думал о том, что война — тоже уравнение, но с неизвестными, которые невозможно вычислить. Сколько жизней будет спасено? Сколько возвращено в строй? Сколько матерей увидят своих сыновей живыми? Сколько невест дождутся своих жени-

хов? Сколько детей увидят своих отцов, которые вернутся домой на костылях или в инвалидных колясках, но вернутся, потому что врачи не дали им умереть?

Ответа не было. Война не дает ответов, она дает только вопросы, и каждый из них — как осколок, который надо извлечь, чтобы рана зажила.

Он достал из нагрудного кармана маленькую фотографию — старенькую, выцветшую, на которой была его мама и он сам, десятилетний, с разбитым коленом, но с сияющими глазами, потому что он только что «прооперировал» соседскую кошку, и она выжила. Кошка была рыжей, с ободранным ухом, и ее сбил велосипед, и Петя принес ее домой, и мама хотела выбросить, но он заплакал и сказал: «Я ее вылечу». И вылечил. Наложил повязку, промыл рану, дал ей молока, и кошка выжила, и мама заплакала, обняла его и сказала: «Ты у меня настоящий врач».

«Я стану врачом», — сказал он тогда маме, и она заплакала еще сильнее, потому что знала: он сдержит слово. Ее Петя, ее гиперактивный мальчик, который вечно лазал по деревьям и разбивал коленки, станет спасать людей. И она гордилась им, хотя и боялась за него, потому что знала, что врач — это тяжелая судьба, особенно на войне.

Он сдержал.

И в этом была вся его жизнь.

Он сложил фотографию, убрал обратно и встал. Завтра — Донецк. Там тоже ждут, тоже надеются, тоже пишут стихи, которые могут спасти жизнь лучше любого лекарства. Там тоже есть дети с рисунками на стенах, и матери, стоящие у икон, и невесты, которые ждут звонка, и раненые, которые кричат от боли и молят о помощи.

«Любовь лечит», — вспомнил он про того пациента, которому дочь прочла стихотворение, и он выжил. Чудо? Или закон, который еще не открыли, но который действует сильнее любых аппаратов и лекарств? Он рассказал эту историю студентам на лекциях, когда преподавал в академии, и они смотрели на него с недоверием и восхищением одновременно. А он просто пожимал плечами и говорил: «Медицина — это не только наука, это еще и искусство, и в этом искусстве есть место чуду. Не бойтесь чуда. Бойтесь, что вы перестанете в него верить».

Он не знал, есть ли у этого закона имя. Но верил. Потому что видел слишком много случаев, которые не мог объяснить никакой наукой — как тот пациент, который выжил, когда все показатели говорили о смерти. Как тот лейтенант, который очнулся и попросил телефон, чтобы позвонить своей невесте. Как те глаза, в которых загорается свет, когда ты говоришь: «Все будет хорошо».

Потому что медицина — не математика. И война — тоже не уравнение.

Это жизнь. И ее надо выиграть.

Ранеными.

Он вышел из школы, и ночь встретила его тишиной — той особенной, которая бывает только в местах, где только что стихли взрывы и где люди наконец могут выдохнуть и подумать о том, что они живы, что они сделали все, что могли, что их руки, пусть и усталые, еще способны держать скальпель и бороться за жизнь. Где-то вдалеке горел дом, и дым поднимался к звездам, смешиваясь с ними, превращая небо в серую пелену.

— Приказано лечить, — сказал он вслух, и слова растворились в этой тишине, как слезы в дожде.

И пошел дальше.

На рассвете, когда первые лучи солнца пробились сквозь дым и разорванные тучи, Скальпель стоял на крыльце школы и провожал взглядом очередную колонну машин, которые увозили раненых в тыл. Машины были старые, выдавшие виды — «Уралы» и «КамАЗы» с бортами, на которых еще сохранилась зеленая краска, выцветшая на солнце и местами облупившаяся от осколков.

С ним стоял старший лейтенант Семенов, и они оба молча смотрели на дорогу, по которой уходили машины, исчезая в утреннем тумане.

— Товарищ подполковник, — сказал Семенов, и голос его дрогнул, — как вы думаете, они все доедут? Я про тех, с тяжелыми ранениями.

— Доедут, — твердо ответил Кальпель, хотя в душе он знал, что не все. Никогда не все. Война есть война, и даже лучшие врачи не могут спасти всех. Но он не имел права говорить это Семенову, потому что если позволить себе сомневаться, то можно сломаться, а на войне ломаться нельзя. — Доедут. Я лично отслеживал маршруты, все согласовал с командованием, на каждом этапе их ждут врачи. Они доедут, лейтенант.

Семенов кивнул, и Кальпель заметил, что у парня дрожат руки — не от холода, а от напряжения, от того, что он видел за последние дни. Семенов был всего на десять лет младше, но казалось, что он старше, что годы войны состарили его сильнее, чем можно было представить. В его глазах была та самая пустота, которую Кальпель видел у многих — когда человек перестает удивляться смерти, когда она становится привычной, как утренний кофе или вечерняя проверка.

— Иди отдохни, лейтенант, — сказал Кальпель, положив руку ему на плечо. — Ты нужен живым. Слышишь меня?

— Слышу, товарищ подполковник.

— Иди. Я приказываю.

Семенов ушел, а Кальпель остался один. Он смотрел на солнце, которое медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в розовый и оранжевый, и думал о том, что война когда-нибудь закончится. Не сегодня, не завтра, но закончится. И тогда он вернется в Москву, в свой госпиталь, к своим операционным, к своим пациентам, и будет оперировать сердца, протезировать клапаны, учить молодых врачей и рассказывать им о том, что видел на войне.

И он будет рассказывать им о лейтенанте Токареве, который выживет и женится на своей невесте. О том полковнике, которого нельзя упоминать. О том юном лейтенанте с фотографией невесты. О нянечке, которая ходила за ним по пятам и говорила: «Мне их жалко».

И он скажет им: «Мы выиграли эту войну ранеными».

Потому что это правда.

И в этой правде — вся его жизнь.

Глава вторая. Госпиталь Мандрыка

В Москве пахло по-другому.

Здесь, в госпитале Мандрыка, воздух был гуще, тяжелее — в нем смешивались запахи лекарств, стерилизованного белья, больничной еды и еще чего-то неуловимого, что Кальпель называл «запахом надежды». В Луганске пахло гарью и смертью, в Донецке — пылью и страхом, а здесь, в этом старом здании с высокими потолками и длинными коридорами, пахло жизнью, которая еще теплилась, которую надо было беречь и защищать.

Он вошел в главный корпус, и его встретила знакомая тишина — та особенная больничная тишина, где каждый звук кажется громким, где шаги разносятся эхом, а капли из капельницы стучат, как метроном, отсчитывающий время. Коридоры были пусты, только медсестры в белых халатах бесшумно скользили по плиточному полу, и их лица были сосредоточенными, как у тех, кто знает цену каждой минуты.

— Петр Иванович! — раздался голос из-за спины, и Кальпель обернулся. Навстречу ему шла Анна Павловна, старшая медсестра, которую он знал уже лет десять, с тех пор, как впервые попал в этот госпиталь молодым капитаном, только что закончившим Саратовскую военно-медицинскую академию. — А мы вас уже заждались! Ну, рассказывайте, как там, на передовой?

Она схватила его за руку, и в ее прикосновении было столько тепла и беспокойства, что Кальпель невольно улыбнулся. Анна Павловна была из тех женщин, которые помнят всех, кто

прошел через их руки — пациентов, врачей, санитаров, и каждого они хранят в памяти как фотографию в старом альбоме.

— Нормально, Анна Павловна, — ответил он, и голос его звучал мягче, чем обычно. — Работаем.

— Ну что вы мне говорите «нормально»? — всплеснула она руками, и ее глаза наполнились слезами. — Я же вижу, как вы выглядите! Вон, под глазами круги, как у того солдатики, которого привезли третьего дня. Он тоже говорит, что у него все нормально, а сам без ноги остался. Вы, военные врачи, все такие — мужики железные, но мы-то знаем, что у вас внутри.

Кальпель ничего не ответил. Он знал, что спорить с Анной Павловной бесполезно — она видела его насквозь, как рентген, и могла прочесть по лицу то, что он прятал от всех остальных. Она была той самой нянечкой, о которой он рассказывал потом на интервью, когда его спросили о госпитале Мандрыка. Той, которая ходила за ним по пятам, когда он приезжал в госпиталь после долгого перерыва, и говорила: «Мне их жалко».

— Пойдемте, — сказала она, потянув его за рукав. — У нас тут ребята, которые вас помнят. Вы же к ним зайдете?

— Конечно, — кивнул Кальпель, и в груди у него потеплело. — Я только сумку оставлю и приду.

— Я жду!

Она ушла, а он остался стоять в коридоре, глядя ей вслед. Анна Павловна была из того поколения, которое не умело быть равнодушным, которое страдало каждому пациенту, как собственному ребенку, и эта ее жалость была не слабостью, а силой — силой, которая возвращала к жизни тех, кто уже почти сдался. Кальпель часто думал об этом: что такое жалость? То, что мешает работать, или то, что помогает? И каждый раз он приходил к одному и тому же выводу — жалость человеческая, та самая, когда ты плачешь над чужим горем, это одно. А сострадание, когда ты понимаешь боль другого и делаешь все, чтобы ее облегчить, даже причиняя боль, — это совсем другое.

Он пошел по коридору, и шаги его гулко отдавались от стен. Здесь, в этом госпитале, он чувствовал себя почти как дома — он знал каждый поворот, каждую дверь, каждый кабинет. Здесь он провел лучшие годы своей карьеры, от капитана до подполковника, от молодого кардиохирурга, который боялся делать первую операцию на сердце, до матерого специалиста, к которому приезжают учиться со всей страны.

Он вспомнил, как впервые переступил порог этого здания. Двадцать один год назад, тогда он был еще просто капитаном медицинской службы, и у него было семь операций на сердце за плечами и страх, который он тщательно прятал под маской уверенности. Он тогда подошел к своему первому пациенту — полковнику в отставке, Александру Николаевичу, — и сказал: «Буду вас оперировать». А тот ответил: «Доктор, я вам доверяю». И оперировал. И пациент прожил еще двадцать пять лет. А когда он приходил потом в госпиталь на проверку, он всегда искал глазами того молодого капитана и говорил: «Молодец, что такие руки».

Почему он запомнил этого пациента? Может быть, потому что это была его первая операция на открытом сердце, или потому что Александр Николаевич стал для него символом доверия, которое пациент дарит врачу, даже не зная его, просто потому что тот носит белый халат и говорит уверенным голосом. А может быть, потому что это была та самая книга Кристиана Барнарда, которую он прочитал на третьем курсе, и в ней было написано, что хирург должен быть музыкантом — нежным, точным и ласковым. И Кальпель запомнил это на всю жизнь.

Он вошел в палату, где лежали раненые, и воздух здесь был другим — тяжелым, плотным, как простыня, которой накрывают тело. В палате было четыре койки, и на каждой лежал человек в бинтах, с капельницами и дренажами, и все они смотрели на него с надеждой — той самой надеждой, которая не умирает даже в самых безнадежных ситуациях.

— Здравствуйте, бойцы, — сказал Кальпель, и голос его был ровным и спокойным. — Я — подполковник медицинской службы Кальпель. Приехал к вам из зоны боевых действий. Проведал, как вы тут, как лечитесь.

Он подошел к первому, парню лет двадцати пяти, с перевязанной головой и гипсом на ноге. Лицо парня было бледным, под глазами залегли синие тени, но он улыбнулся, когда Кальпель подошел к нему.

— Товарищ подполковник, — сказал он и попытался привстать, но Кальпель мягко положил руку ему на плечо.

— Лежи, лежи. Мы тут без церемоний. Как тебя зовут?

— Михаил, товарищ подполковник. Рядовой Михаил Гаврилов. Я из-под Артемовска. Меня осколком в голову зацепило, и ногу раздробило. Врачи говорят, что я теперь буду ходить, но сначала надо долго реабилитироваться.

— Будешь, — кивнул Кальпель. — У нас хорошие хирурги, они тебя поставят на ноги. Ты только верь.

Он перевел взгляд на соседнюю койку, где лежал парень с перевязанной грудью и закрытыми глазами. Кожа его была серой, как у тех, кто потерял слишком много крови, и Кальпель заметил, что рядом с койкой сидит женщина — молодая, с заплаканным лицом, и держит его за руку.

— Это моя жена, — слабо сказал парень, открывая глаза. — Я лейтенант Сергей Савельев. А это Анна, моя жена. Она приехала ко мне из Рязани. У нас ребенок, — он запнулся, и голос его задрожал, — у нас ребенок должен родиться через два месяца. Я должен выжить, товарищ подполковник. Я должен увидеть своего сына. Мы ждали этого десять лет, у нас не получалось, а тут как получилось, и я ушел на войну.

Кальпель посмотрел на Анну. Она была молода, лет двадцать пять, и в ее глазах стояла та смесь надежды и отчаяния, которую он видел у многих жен на этой войне. Она не плакала, но губы ее дрожали, и она сжимала руку мужа так сильно, что побелели костяшки пальцев.

— Вы будете жить, лейтенант, — твердо сказал Кальпель, и голос его прозвучал жестче, чем он хотел. — Я приказываю вам жить. Мы вас вылечим, и вы увидите своего сына. Вы поняли меня? Вы будете держать его на руках, и он будет называть вас папой. А когда он вырастет, вы расскажете ему о том, как спасали Родину. И он будет гордиться вами. Слышите?

Парень кивнул, и по его щеке скатилась слеза. Анна заплакала, и Кальпель отвернулся, чтобы не видеть этих слез, потому что если он будет смотреть на них, он не сможет работать. Он всегда знал: эмоции — это роскошь, которую он не может себе позволить. Он должен быть твердым, как скальпель в его руках, холодным, как металл, из которого сделан этот инструмент.

Он перешел к третьей койке, где лежал совсем молодой парень, почти мальчик, с бинтами на руках и ногах. У него были светлые волосы и веснушки, и он смотрел на Кальпеля с таким восхищением, что у подполковника сжалось сердце.

— Вы тот самый Скальпель? — спросил мальчишка, и голос его был тонким, почти детским. — Я о вас слышал. Командир говорил, что вы лучший хирург в нашей армии. Что вы все можете.

Кальпель усмехнулся, и усмешка эта была кривой и неловкой.

— Не все, — сказал он. — Я не умею оперировать головной мозг. И не умею возвращать мертвых к жизни. Но я делаю все, что могу. Как тебя зовут, боец?

— Дмитрий, товарищ подполковник. Дмитрий Кузнецов. Мне девятнадцать лет. Я под Донецком получил ранение. У меня руки и ноги повреждены осколками. Врачи сказали, что я, возможно, не смогу ходить. Что мне придется пользоваться коляской. Но я не хочу в коляске, товарищ подполковник. Я хочу бегать.

— Будешь бегать, — сказал Кальпель, и голос его был твердым. — У нас есть хорошие реабилитологи, они поставят тебя на ноги. Знаешь, сколько людей я видел, которым говорили,

что они не будут ходить, а они ходили? У одного пациента было раздроблено бедро, и врачи сказали, что он никогда не встанет. А он сейчас работает в госпитале санитаром, ходит без трости, и никто не верит, что он вообще был ранен. Так что ты — не исключение. Ты будешь бегать, Дмитрий. Я приказываю.

Мальчишка улыбнулся, и в его улыбке было столько надежды, что Кальпель на мгновение ослеп. И в этот момент он понял, почему делает это. Не ради денег, не ради званий, не ради славы. А ради этой улыбки, ради этой надежды, ради того, чтобы видеть, как в глазах человека загорается свет, когда он понимает, что живет.

Он вышел из палаты и прислонился спиной к стене. Руки его дрожали, и он сжал их в кулаки, чтобы унять эту дрожь. Анна Павловна ждала его в коридоре, и в ее глазах стояло понимание — она видела его состояние и не задавала вопросов.

— Анна Павловна, — сказал он, и голос его был хриплым, — вы знаете этого Дмитрия Кузнецова?

— Знаю, Петр Иванович. Он поступил к нам неделю назад. Такой мальчуган хороший, добрый. Все время спрашивает, сможет ли он ходить. Врачи говорят, что возможно, что и сможет, но повреждения серьезные. Осколки заделали нервные окончания, и восстановление будет долгим и трудным.

— Я займусь им, — сказал Кальпель. — Я поговорю с реабилитологами, мы составим индивидуальную программу. Он должен ходить. Он должен бегать. Мы не можем его потерять.

Анна Павловна покачала головой, и в ее глазах стояли слезы.

— Вы такой, Петр Иванович. Вы всегда так говорите — «он должен». И вы делаете. Вы творите чудеса. А потом уходите на войну, и мы волнуемся за вас, как за собственных сыновей.

Кальпель промолчал. Он знал, что она права — он всегда так говорит, и он всегда делает. Потому что другого пути нет.

Он пошел дальше по коридору, и ноги его несли его в отделение, где лежали те, кого эвакуировали из Луганска и Донецка. Здесь, в госпитале Мандрыка, было тихо, но это была не та тишина, которая успокаивает, а та, которая давит, которая напоминает о том, что где-то там, за стенами, идет война, и каждый день в эти палаты поступают новые раненые.

Он зашел в палату, где лежал полковник — тот самый, которого нельзя было упоминать. Кальпель знал его лично, хотя и не мог сказать, как его зовут, потому что полковник был из тех, чьи имена не произносят вслух. Они встретились взглядами, и полковник кивнул — коротко, по-военному.

— Здравствуйте, товарищ подполковник, — сказал он, и голос его был сухим, как песок, но в нем слышалась усталость, которая сквозила между словами, как сквозняк между закрытыми дверями. — Рад вас видеть. Приехали нас проведать?

— Приехал, товарищ полковник, — ответил Кальпель, садясь на стул рядом с койкой. — Как вы себя чувствуете?

— Жив. Врачи говорят, что через месяц смогу ходить. Осколок задел позвоночник, но не повредил его. Просто ушиб, гематома. Скоро все пройдет. Я снова пойду в строй.

— Вы уверены, что хотите? — спросил Кальпель, и голос его был мягче, чем обычно. — Вы уже отдали свой долг. Вы можете вернуться в тыл, работать в штабе, воспитывать детей, жить спокойно. Вам не обязательно снова идти на передовую.

Полковник усмехнулся, и в его усмешке было столько горечи, что Кальпель на мгновение отвел глаза.

— Я не могу, товарищ подполковник, — сказал он. — Я там нужен. Мои ребята там, они ждут меня. Я не имею права их бросить. Знаете, когда я получил ранение, я думал только об одном: как они там? Не подведут ли меня? Не поломаются ли без меня? А потом я понял: если я не вернусь к ним, они не простят мне. И я сам себе не прощу. Потому что я — их командир.

Кальпель молчал. Он знал это чувство — когда ты не можешь бросить тех, кто на тебя рассчитывает, кто верит тебе, кто доверил тебе свою жизнь. Он чувствовал то же самое, когда стоял у операционного стола, когда решал, кого спасти первым, когда выбирал, кому из раненых нужна помощь больше. Это чувство не имеет имени, оно просто есть, и оно живет в тебе, как вторая душа.

— Как там, на передовой? — спросил полковник, и в его глазах загорелся огонь — тот самый огонь, который не гаснет даже после ранений, даже после потерь, даже после всего того ужаса, который они видели. — Что нового?

— Война, — коротко ответил Кальпель. — Война, товарищ полковник. Такая же, как и всегда. Только техника другая. Дроны, кассетные боеприпасы, высокоточные снаряды. Ранения тяжелые, множественные. Очень много осколочных. Мы в Луганске и Донецке работали почти без остановки. Не успевали эвакуировать всех.

— Я знаю, — кивнул полковник. — Я тоже видел это. У нас под Горловкой был бой, и я своими глазами видел, что творят эти дроны. Один маленький аппарат, а столько горя... Хорошо, что вы там, Скальпель. Хорошо, что вы спасаете наших ребят. Я слышал, как они о вас говорят. «Если Скальпель рядом, значит, все будет хорошо». Вы для них символ надежды.

Кальпель ничего не ответил. Он не любил эти разговоры — о том, что он герой, что он спаситель, что он делает невозможное. Он просто делал свою работу. Он делал то, чему учился много лет, то, что было его призванием, его судьбой. И не было в этом никакого героизма, а было только чувство долга — то самое чувство, которое заставляло его вставать в шесть утра и идти в операционную, даже когда ему хотелось спать, даже когда он был болен, даже когда все тело ломило от усталости.

— Я пойду, товарищ полковник, — сказал он, вставая. — Мне еще нужно зайти в другие палаты, проведать ребят.

— Идите, Скальпель, — кивнул полковник. — И спасибо вам за все. Вы делаете великое дело.

Кальпель вышел и снова пошел по коридору. Мимо него проплывали двери, за которыми лежали раненые, и за каждой из этих дверей была своя история, своя боль, своя надежда. Он зашел в еще одну палату, где лежал совсем юный лейтенант, с перевязанной грудью и лицом, на котором еще сохранилась та юношеская мягкость, которая не успела загубить от войны.

— Товарищ подполковник, — лейтенант заулыбался, когда увидел его, и Кальпель вспомнил: тот самый, с фотографией невесты. — Я вас помню! Вы были в госпитале, когда я только поступил! Вы тогда спросили меня, есть ли у меня девушка, и я показал вам ее фото!

— Помню, — кивнул Кальпель, садясь рядом. — Как твоя невеста? Что она пишет?

— Пишет, товарищ подполковник, — улыбка лейтенанта стала еще шире, и в ней засветилась та самая надежда, которую Кальпель видел у каждого пациента. — Она ждет меня. Говорит, что уже купила платье, и что все готово к свадьбе, и что она никуда не торопится, потому что хочет, чтобы я был на свадьбе здоровым и целым. Я так хочу к ней, товарищ подполковник. Я так хочу скорее выздороветь и поехать к ней.

— Ты выздоровеешь, — сказал Кальпель, и голос его стал мягче. — Ты поедешь к ней, и ты будешь на своей свадьбе. И я тоже приду, если позовешь. Я люблю смотреть на счастливых людей.

Лейтенант покраснел и засмеялся.

— Обязательно приду, товарищ подполковник! Я вас приглашу!

Кальпель вышел из палаты, и на душе у него стало легче. Эти парни, такие молодые, такие еще по-детски наивные, с их мечтами и надеждами, возвращали ему веру в жизнь. Он видел, как они держатся, как борются за свои жизни, как верят в лучшее, и это придавало ему сил.

Он вышел во двор госпиталя, где садилось солнце, окрашивая здания в золотистый цвет, и вдохнул свежий воздух. Москва была тихой, такой, какой он помнил ее с детства, когда при-

езжал сюда с мамой в отпуск. Только сейчас он смотрел на этот город другими глазами — глазами человека, который видел войну.

Зазвонил телефон. Это был Семенов, старший лейтенант, который остался в Луганске.

— Товарищ подполковник, — голос Семенова был взволнованным, но он старался говорить спокойно, — у нас новое поступление. Восемь человек. Все тяжелые. Нужно срочно эвакуировать в тыл.

— Действуйте, — сказал Кальпель, и голос его стал жестким, как сталь. — Я сейчас свяжусь с командованием, организую транспорт. Вы готовьте ребят к транспортировке. Я пришлю вам дополнительный медперсонал.

— Есть, товарищ подполковник.

— Семенов, — Кальпель помедлил, — ты как там? Держишься?

— Держусь, товарищ подполковник. Более-менее. Только вот...

— Что?

— Там совсем молодые парни. Одному, наверное, лет восемнадцать. Он кричит, просит, чтобы я не дал ему умереть. Смотрит на меня такими глазами... Я говорю ему, что все будет хорошо, а сам не знаю, что сказать.

— Скажи ему правду, — сказал Кальпель. — Скажи ему, что мы делаем все, что можем. Что мы не дадим ему умереть, пока есть хоть малейшая надежда. Потому что это — наша работа. Наша война. Мы выигрываем войну ранеными. Помни об этом.

— Есть, товарищ подполковник.

Связь оборвалась, и Кальпель убрал телефон. Он смотрел на закатное небо, на золотые купола церкви, видневшейся вдалеке, и думал о том, что война не кончается, что где-то там, в Луганске и Донецке, его товарищи продолжают делать свою работу, а здесь, в госпитале Мандрыка, другие врачи продолжают спасать жизни. И все они — часть одной цепи, одного механизма, одной армии, которая борется за жизнь каждого солдата.

Он вернулся в здание и снова пошел по коридорам, заходя в палаты, разговаривая с ранеными, подбадривая их, вселяя в них надежду. Анна Павловна ходила за ним по пятам, как и в первый раз, когда он приехал сюда много лет назад, и он усмехнулся, вспомнив свой вопрос: «А что вы за мной ходите?» И ее ответ: «Мне их жалко».

Да, ей было жалко. И ему тоже. Но он не мог себе позволить эту жалость, потому что она мешала работать, она делала его слабым, она мешала ему быть тем самым Скальпелем, в которого верили его пациенты.

Но сострадание... Сострадание было другим. Это была не жалость, а понимание боли другого и желание сделать все, чтобы эту боль облегчить. Именно сострадание двигало им, когда он стоял у операционного стола, когда он решал, кого эвакуировать первым, когда он говорил пациентам: «Я приказываю вам жить».

Поздно вечером, когда все обходы были закончены, Кальпель сидел в своем кабинете и смотрел на стопку медицинских карт, которые лежали перед ним. В каждой из них была своя история, своя судьба, своя жизнь, которую надо было сохранить. Он взял одну из них — карту Дмитрия Кузнецова, того мальчишки, который боялся, что не сможет ходить, и начал писать рекомендации для реабилитологов.

Он писал, и рука его двигалась быстро и уверенно, потому что он знал: эти слова могут изменить жизнь человека. Он писал не как врач, а как человек, который верит, что чудеса возможны, что любовь лечит, что надежда возвращает к жизни даже тех, кто уже почти сдался.

Закончив, он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Усталость навалилась на него, как тяжелое одеяло, и он провалился в сон — короткий, тревожный, наполненный звуками взрывов и криками раненых.

Ему снился Луганск, разрушенная школа, детские рисунки на стенах и тот самый рисунок с дякой доктором. Ему снился лейтенант Токарев, который шел по церкви в свадебном

костюме, и невеста ждала его у алтаря. Ему снился Дмитрий Кузнецов, который бегал по полю с другими мальчишками, и его ноги были сильными и здоровыми.

Он проснулся от того, что кто-то тронул его за плечо. В кабинете стояла Анна Павловна, и в ее руках была чашка горячего чая.

— Петр Иванович, — сказала она тихо, — вы заснули за столом. Выпейте чаю. Он согревает.

Он взял чашку, и тепло разлилось по его телу, прогоняя холод, который поселился в душе.

— Спасибо, Анна Павловна, — сказал он, и голос его был хриплым от сна. — Вы всегда знаете, что мне нужно.

— Я знаю, Петр Иванович, — ответила она, садясь напротив. — Я вижу вас насквозь. Вы устали. Вы слишком много берете на себя. Но я знаю, что вы не остановитесь. Потому что вы — Скальпель.

— Да, — усмехнулся он. — Я — Скальпель. И я должен лечить.

Он допил чай, и встал. Завтра будет новый день, новые пациенты, новые операции, новые решения. И он будет делать свою работу, потому что это его судьба, его выбор, его долг.

Приказано лечить.

Он вышел из кабинета, и шаги его снова зазвучали в пустом коридоре. Госпиталь спал, но в палатах горел свет, и медсестры бесшумно скользили по коридорам, проверяя капельницы, меняя повязки, записывая показания.

Кальпель зашел в палату, где лежал Дмитрий Кузнецов, и сел рядом с его койкой. Мальчишка спал, и лицо его было спокойным, без того напряжения, которое он носил днем. Кальпель смотрел на него и думал о том, что все эти парни — его дети, его братья, его товарищи. И он будет делать все, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми.

Он вышел из палаты и пошел к выходу. На улице его ждала машина, которая должна была отвезти его в академию, где его ждали молодые врачи, которым он должен был передать свой опыт.

Он сел в машину и закрыл глаза. Завтра он расскажет им о том, что видел в Луганске и Донецке. О том, как работают военные хирурги, как спасают жизни в самых критических ситуациях. Он расскажет им о лейтенанте Токареве, о Дмитрие Кузнецове, о полковнике, которого нельзя упоминать, о всех тех, кто доверил им свои жизни.

И он скажет им: «Мы выиграли войну ранеными. Запомните это. Потому что это — наша правда. Наша война. Наша жизнь».

Машина тронулась, и Москва поплыла за окном, освещенная огнями, как праздничный корабль. Кальпель смотрел на этот город и думал о том, что где-то там, на передовой, его товарищи продолжают делать свою работу. И что когда-нибудь эта война закончится, и все они вернутся домой, и будут жить, и радоваться, и любить.

И это будет их победа.

Победа, которую они выиграли ранеными.

Глава третья. Сердце, которое не сдаётся

В операционной пахло электричеством и страхом.

Это был тот особенный запах, который Кальпель чувствовал только перед самыми сложными операциями — когда под рёбрами закипала кровь, а пальцы начинали жить собственной жизнью, опережая мысли. Он стоял над столом, и под его руками лежало сердце — маленькое, размером с кулак, тёплое, живое, упрямо бьющееся вопреки всему. Сердце сержанта Андрея Кузьмина, двадцати двух лет, который полгода назад смотрел на невесту в белом платье и клялся любить её вечно, а теперь лежал здесь, подключённый к аппарату искусственного кровообращения, и его жизнь висела на нитях, которые держал в руках Петр Иванович Кальпель.

Он стоял над этим сердцем, и ему казалось, что он слышит его историю — не ту, что написана в медицинской карте сухим казённым языком, а настоящую, живую историю, которая билась в каждой клетке, в каждом сокращении мышцы. Это сердце помнило, как оно билось, когда Андрей впервые увидел свою Светлану на школьной дискотеке — ему было шестнадцать, ей пятнадцать, и они танцевали медленный танец, и он держал её за руку, и сердце его колотилось так, что казалось — оно выпрыгнет из груди и упадёт к её ногам, как подарок. Оно помнило, как оно билось, когда он провожал её до дома и впервые поцеловал, и она улыбнулась, и он понял — это навсегда. Оно помнило, как оно билось, когда он получил повестку и стоял в военкомате, и она держала его за руку и плакала, а он говорил: «Я вернусь. Я обязательно вернусь. Ты только жди».

— Осколок прошёл между рёбрами и задел левый желудочек, — тихо сказал ассистент, молодой капитан Воронов, и голос его дрожал, как струна, которую перетянули слишком сильно, и она вот-вот лопнет и со свистом хлестнёт по пальцам музыканта. — Кровотечение было обильным, но мы его остановили. Однако повреждение... Товарищ подполковник, я никогда не видел такого, чтобы осколок прошёл именно здесь, между двумя ветвями, не задев коронарные артерии. Это чудо, что он вообще дожил до госпиталя. Когда его привезли, у него было пульс сорок ударов в минуту, и он терял сознание. Санитары говорили, что он всю дорогу держал в руках фотографию — девушка в белом платье, и он смотрел на неё и повторял: «Я обещал ей, что вернусь».

Кальпель на мгновение задержал дыхание. Он представил себе эту сцену — санитарная машина, трясущаяся по разбитой дороге, внутри — молодой парень, который истекает кровью и держит в руках фотографию, как талисман, как икону, как единственную нить, которая связывает его с жизнью. И он, хирург, должен сделать всё, чтобы эта нить не оборвалась.

— Чудес не бывает, — ответил Кальпель, и голос его был сухим, как перекалённый металл, который уже не горит, но ещё хранит тепло огня. — Есть только мастерство врачей и везение пациента. Но сейчас не время для разговоров. Давайте сюда иглу. И — тихо, чтобы я слышал только сердце.

Он наклонился над столом, и свет лампы заливал поле операции, делая его ослепительно белым, почти нереальным, как сцена в театре, где разыгрывается главная драма жизни и смерти. Руки его двигались с той особенной грацией, которую он вырабатывал годами — плавно, точно, без лишних движений, как у музыканта, который играет на скрипке с закрытыми глазами, доверяя только пальцам. Он был похож на дирижёра, управляющего оркестром, где каждый инструмент должен звучать в унисон, и если кто-то ошибётся, музыка остановится навсегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.